

Толковать о русском писателе, когда *русский* – не племя и кровь, а народность и православность писательского духа, и толковать честно, без своекорыстной лести, все одно что толковать о исконном русском характере с причудливыми излучениями его творческого таланта, с его языческими страстями и душераздирающим покаянным уничтожением. А посему, вознамерившись молвить слово о творчестве Владимира Крупина, мне посильно лишь вспомнить мимолётные встречи да выразить *свой* взгляд на некие идейные основы его творческого мира.

В записках о нынешней литературе я размышлял о том, что чудной и чудный народ русский неприязненно чужд иноземцу, иноверцу: народу бы правдами-неправдами заколачивать деньги, дабы истратить на грешные утехы, так нет же, голодный, холодный, повально пишет стихи, а ино и прозу – душа просит; а по вешнему теплу бежит на дачи и, молитвенно приныкая к матери-сырой земле, растит свёклу, картошку и маркошку, и, опять же, не столь ради прокорма, сколь души ради, просит родимая. Странная, удивительная и непостижимая по нынешним временам была жизнь в Российской Народной Империи: народ повально читал...брехня, что повально пил... и даровитые писатели, коих *любил* народ, собирали в залах столь читающего люда, что и междурыдья не пустовали; и книгочеи...не токмо грамотеи, но даже мужики и бабы от серпа и моло-

та, коих азы, буки и веда в отрочестве страшили, яко медведи, и те азартно следили за толстыми журналами, что выходили миллионными тиражами, зачитывали журналы до дыр, передавая из рук в руки; и те же книгочеи битком набивались в книжные лавки, давились в очередях, когда на прилавки выбрасывали книги *любимых* писателей, либо игралась лотерея, скажем, на собрание сочинений Николая Лескова; вдохновенно читал русский народ и, благодаря произведениям, «где русский дух, где Русью пахнет», где «милость к падшим», любил ближнего и Отечество любовью сострадательной и восхитительной, любил и верно, талантливо служил державе и народу.

Так читались и даже зачитывались...возьмут книгу и не вернут...перечитывались произведения Владимира Крупина, что издавались по нынешним бестиражным временам сказочными тиражами: сборники рассказов «Зерна», «До вечерней звезды», знаменитая повесть «Живая вода», повести «Сороковой день», «Прости, прощай...», роман «Спасение погибших» и другие...

Когда Владимир Крупин входил в литературу, доживали творческий век довоенные писатели, процветали военные, проповедующие высокий нравственный облик строителя «земного рая» и самоотрешённую любовь к Родине – «...раньше думай о Родине, а потом о себе»... Паслась в сих поколениях и начальственная заурядь, полонившая книжные прилавки

кирпичами многотомных сочинений, но не таились в тени и мастера прозы и поэзии, любимые народом.

В шестидесятые годы вначале по-деревенски робко и стеснительно, а в семидесятые, восьмидесятые во всю отчаянно-печальную удаль явилась в русском искусстве «деревенская» проза – суть народная: Шукшин, Абрамов, Астафьев, Носов, Белов, Распутин, и примыкающая к «деревенщикам» добрая дюжина писателей, не столь именитых, но, похоже, даже более любимых читателем-простецом. А на заре восьмидесятых полноправно вошёл в народную литературу и Владимир Крупин, ибо повесть «Живая вода», увидевшая свет в 1980 году, принесла писателю российскую славу и зарубежную известность. А через год за повесть «Сороковой день», напечатанную в журнале «Наш современник», был уволен Юрий Селезнёв, заместитель главного редактора, любознательный русский литератор.

Помню, столь сильно впечатлила повесть «Живая вода», что писатель для меня, выпускника филологического факультета, изрядно начитанного, уже и страдающего сочинительством, сразу же вошёл в череду всемирно славленных «деревенщиков». Помню, потрясла и на весь век запала в душу зачинная мысль: «Жили вятские мужики плохо, но этого не знали. (...) И думали, что живут хорошо, не хуже других, но пришёл захожий человек, говорит: «Чего это вы так плохо живете?..» А ведь глаголет мужик, яко западник доморощенный, сокрушающий славянофила-руссофила, – помните, в романе «Дым» Тургенева, в зрелости ярого западника, на старости лет впавшего ещё и в русофобию и германофильство: «...Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле... (...) Наша матушка, Русь православная,

провалиться бы могла в тартары и ни одного гвоздика, ни одной булавоочки не потревожила бы, родная (...), потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут – эти наши знаменитые продукты – не нами выдуманы. (...) Старые наши выдумки к нам приползли с Востока, новые мы с грехом пополам с Запада перетащили, а мы все продолжаем толковать о русском самостоятельном искусстве! (...) Ну скажите мне на милость, зачем врёт русский человек?...Вижу, что и у нас хватились, наконец, ума-разума и не намерены более, под предлогом самостоятельности там, народности или оригинальности, к чистой и ясной европейской логике прицеплять доморощенный хвостик, а напротив, берут хорошее чужое целиком.... Наскочил я на русский самородок (...) Уж эти мне самородки! (...) Русское художество, русское искусство!.. Русское кружение я знаю и русское бессилие тоже, а с русским художеством виноват, не встречался. (...) Русские люди – самые изолгавшиеся люди в целом свете...» Сердобольные тургениеведы поясняют: мол, сквозь слезы любви к России и русскому народу писал сие Тургенев; но, хоть убей, не видятся слезы, не слышится плач в тургениевских речах; а поминается лишь восклицание Достоевского, смысл коего таков: если в России и сжигать какую-то книгу, порочащую русский народ, то перво-наперво – книгу «Дым».

Вот ведь какую глобальную, трагическую для русского царства-государства мысль изрёк и заронил в русскую душу прохожий из повести «Живая вода»: дескать, худо живете... А прохожий ли?.. не лукавый ли, утаивший рога в чёрной шляпе, а копыта в долгополом чёрном плаще с красным подбоем?.. А ведь так супостаты, искусив дворянство западными прелестями, а потом и разночинство, соблазняли и обезбоженное простолюдыне братоубийственные брани; так мы на

крутом изломе веков едва России не лишились, о чем и писал Владимир Крупин в статье «До чего, хриstopродавцы, вы Россию довели!..»

По повести «Живая вода» был поставлен художественный фильм «Сам я – вятский уроженец», что для писателя, даже талантливого, редкостная удача, а для молодого – чудо чудное, тем паче, если главные роли исполнили выдающиеся русские киноартисты Михаил Ульянов, Евгений Лебедев. Впрочем, фильм не глянулся мне: переиграли лицедеи – вольно ли, невольно вышел деревенский люд дурак дураком, к сему ленив и лукав, – и вдруг вспомнилось, как герой Шукшина, коренной и пожизненный плотник, зафитил сапог в телевизор, где артист, изображающий матёрого плотника, толком топор не умеет держать. Вот и мне хотелось зафитилить...

* * *

В отличие от русскоязычной – не чующей ни духа, ни слова народного, не жалеющая ради хлётского словца ни мать, ни отца, – крестьянская проза, зазвучав по всей России-матушке, словно вечевым набатом, отозвалась во всякой живой русской душе. Деревня приманивала, волновала, радовала и кручинила писателей, как островок, где ещё теплилась русскость, где ещё дивом дивным, чудом чудным выжила совесть – предтеча покаянной любви к Всевышнему, – где народ ещё помнил тысячелетнее величавое сказовое, песенное слово, ещё не выронил из рук самобытное художественное ремесло. А если иной и не владел словом, не привадился к искусному ремеслу, то просто жил художником в душе, чующим народную, природную красу. Дух совести и красоты «деревенская» проза и запечатлела.

Владимир Крупин не смерк в тени возлюбленных народом, всесветно славленных крестьянских писателей,

а встал наособицу в силу своеобразности дарования, предельно реального... события, казалось, прямо из записной книжки... но порой и предельно фантазмагорического, хотя, опять же, и предельно исповедального, отчего знатоки русской словесности повеличали писателя представителем исповедальной прозы.

Валентин Распутин писал: «Проза Владимира Крупина – это нечто особое в нашей литературе, нечто выдающееся и на удивление простое. (...) Не знаю никого из авторов второй половины XX столетия, кто бы так мастерски обращался с фактом, с тем, что происходит ежедневно, превращая его с помощью ему одному доступных средств в совершенные формы. Одно из двух: или с писателем Крупиным постоянно что-то происходит интересное, едва не на каждом шагу встречаются ему личности-самородки, или писатель Крупин настолько интересен сам, что способен преобразить в откровение любое рядовое событие».

Писательское счастье Владимира Крупина в том, что его заметил, приветил и полюбил Валентин Распутин, Царствие ему Небесное, творчество которого о ту пору уже высоко оценила правящая коммунистическая партия: за очерковые книги о великих комсомольских стройках писатель был удостоен премии Центрального Комитета комсомола имени Иосифа Уткина, а вскоре с выходом первых деревенских повестей и Государственной премии Советского Союза. У знаменитого писателя имелся некий дружеский круг, что таинственно менялся, но, думаю, ближе всех Распутину был Владимир Крупин; а Валентин Григорьевич, коли уж заводил дружбу, то уж за други своя не щадил живота; и помню, однажды припёр меня к стенке, да и сурово отчитал: мол, чего ты, парень, так навалился на Володю Крупина со своими рассказами?! ты это, парень,

брось... В восьмидесятые годы послал я в журналы свои сочинения, а коли получал от русских журналов (в русскоязычные уже совался) от ворот поворот и пожелания заняться иным трудом, то попытался пробиться в журналы не в потоке, а с помощью известных столичных писателей; вот на Владимира Николаевича и навалился, и тот, бедный, не знал, куда и деваться от назойливого деревенско-го паренька.

Лет через десять после взбучки, что схлопотал от Распутина, скопил я деньжонок и прилетел в столицу, где беспрокло мотался по журналам с повестями и рассказами, страшно уставая от пестролюдья и многолюдья, от суетливости и торопливости, от летней жары и стылого безразличия, с каким встречали меня, деревенщину, столичные редакторы. Может быть, моя проза иного отношения и не заслуживала, а всё же было обидно и досадно... И вот уже на последнем издыхании вполз я в журнал «Москва», где случайно и свиделся с Владимиром Крупиным; писатель уже покинул кресло главного редактора и заведовал журнальным разделом «Домашняя церковь». Неожиданно... я даже оторопел от эдакой чести... Владимир Николаевич предложил прогуляться по Москве; и помню, лихо прошёлся по кабинету, где корпели над «нетленными творениями» несчастные редакторы, потом с ласковой, слегка виноватой, смущённой улыбкой тихонько умыкнул гранёный стакан со стола... дама зачиталась, увлеклась... и утопил в глубоком кармане плаща. Прошли мы по Старому Арбату, свернули... мне почудилось... Староконюшенный переулок, и я взволновано подумал: «Господи милостивый!.. да мы же к Распутину в гости идём...» Но, увы, обосновались мы в старенькой беседке под сиреновой сенью, где и тихо застольничали, где Владимир Николаевич вдруг разговорился, а

я от эдакой чести вновь обомлел и утратил дар речи, но лишь беседа в счерневшей, ветхой беседке и осела в памяти отрадным впечатлением от суетного, безрадостного гостевания в Москве. Из застольной речи Владимира Николаевича запомнилось лишь мучительное вопрошание: а не искус ли лукавого наше писательское ремесло?..

* * *

Встречи мои с Владимиром Крупиным были случайные, мимолётные, по сей день робко ученические и обычно прилюдные; коли Валентин Распутин читал Владимира Николаевича, то писатель нередко и гостил в Иркутске, встречаясь с читателями, чаще в осенние «Дни русской духовности и культуры».

В эти дни изрядно наслушался я столичных писателей, которых поимённо, титульно и поклонно величал Валентин Распутин, отец торжества. Иные писатели вещали глубокомысленно, с духовной страстью, иные... Изрядно похлебал я винца с хлебцем на писательских сабантуях, а посему ведаю, что писатели, покинув письменные столы, словно шаткие челны, убежав от житейской мороки, очутившись в гостиничных номерах, тут же сплываются вокруг братчинных застолий, где пенится искристое вино, горькой слезой светится водка, звенят заздравные кубки, витии плетут вдохновенные речи, балагуры и баешники травят писательские байки, поэты голосят ино с блатной хрипотцой, ино с богемным подвывом. И так, бывало, и до утренней зари... Духовные и трезвенные либо житейски умудрённые, тем паче именитые писатели, абы не пасть лицом в грязь, лишь пригубляют винцо, чередуя чарку с чашкой чая, а уж бедовые писатели, особо губернские либо те, что в столице без году неделя, те, словно лихие казаки, омочившие ус в горилке, угощаются, пока не падут

рогами в пол. А без памяти, что утром речь говорить...

Помню, читальный зал публичной библиотеки битком набит, яблоку негде упасть, ждут книгочеи сокровенные и спасительные думы, восторженно глядя на любимого прозаика; а тот, бедалага, трясётся, дует водицу из графина и мучительно гадает, о чём же говорить, когда не знаешь, что говорить, когда голова гудит, словно вечевой колокол, и горит, пышет жаром, словно банная каменка, плесни воды, и по-змеиному зашипит. Поэту проще, даже после буйного застолья разбуди посреди ночи, забубнит куплеты, с годами так вызубренные, что от зубов отскакивает, а каково ж прозаику?.. не роман же читать... Перво-наперво надо сотворить бойкий зачин, думает бедняга, а там, глядишь, и раскрутится зачин, словно шерстяной клубок, и потянется нитка, и похмельная мука уляжется, и думы проснутся. А вот и зачин родился: «...Утром гулял по набережные реки Ангары, а встречь – сибирячки, одна краше другой, да все ядрёные, матёрые, – верно, друзья, сказал Ломоносов: «Россия будет прирастать Сибирью...»

Не вем, попал ли в эдакую беду Владимир Николаевич, но сколь слушал его на иркутских литературных вечерах, столь же и дивился любознанию и краснопевности его речей; хотя, словно подгоняемый несметным знанием, говорил он порой скороговористо, горячо и даже запальчиво; ну да се не беда, – речено же в Откровении Иоанна Богослова: коли «ты тепл, а не горяч и не холоден, то исторгну тебя из уст Моих». И речи его – миссионерские проповеди, разом и покаянные исповеди, – недаром, в далёкие народные лета, Крупина именовали ещё и представителем исповедальной прозы.

Помню давнее, от юности, яркое впечатление: библиотечная гости-

ная битком набита книгочеями, а за долгим столом, укрытым вишнёвой скатертью, матёрые писатели, и среди них Владимир Крупин, о ту пору молодой, но уже и забородатевший по самые очеса, робко глядящий в зал. Лицо странно сочетающее строгую иконописность и ласковую, скomorошескую потешность... И вдруг заговорил да на деревенский лад, и я подивился: да как же столица и пединститут не выбили из парня чудной и чудный вятский говор?! Позже Владимир Николаевич вспоминал: пришёл в московский пединститут со своим вятским поговором, и шараялись от глухomanного студента преподаватели и девушки, что любят культурных, городских; любила его, кажется, лишь преподаватель диалектологии, да и то лишь потому, что можно, не выезжая в деревню, изучать диалект прямо в институтских стенах. И вот Владимир Николаевич со смущённой улыбкой, со вздохами заговорил, а народ книгочейный затаил дыхание в ожидании великих откровений от писателя из столицы... Это нынче Владимир Николаевич хоть от зари до зари толковал бы о Святой Руси, а тогда лишь посетовал: дескать, вот писатели сидят, – и указал на почтенную писательскую череду, – а он, де, какой еще писатель; а тут из зала: «А почо приехал?! да еще и на сцену вылез?!» В народе смех, и уже таким свойским и *простым* показался писатель. А ведь понятие *простой* в русском простолудье слыло за большую хвалу: мол, душевный, нелукавый, бесхитростный, а перво-наперво свой в доску. *Простых* любили, *простым* доверяли. Если простота, конечно, не та, что хуже воровства, а когда по Святому Писанию: *будь кроток, как голубь, но мудр, как змея*. Была ли в писателе змеиная мудрость, не ведаю, но простоты душевной и весёлого задора хватало.

Будучи с Владимиром Крупиным в единомыслии, единомыслии, воображаю: однажды Владимир Николаевич, оказавшись в гигантском книгохранилище, усталым взглядом окинул книжные полки, от пола и до потолка забитые книгами, и онемел от ужаса: это же сколь тайги-то угробили на бумагу?! жизни не хватит, чтобы осилить хоть малую толику из книжных пудов и суетным мирским знанием до краев наполнить разум, словно мусорную корзину битком набить, исписать душу словесами земными, не оставив и осмушки глаголам Божиим. Увы, увы, за хребтами и скалами мирских книг, как за каменной тюремной стеной, таились Святое Писание и Священное Предание, боголюбивое средневековое письменное слово, а по пути и – устное, сказовое, что в крестьянском миру, кочуя из души в душу, из уст в уста, веками зело умудрялось и дивно украшалось.

Из речей Владимира Крупина, кои доводилось слушать на иркутских писательских вечерах, из повествований и сказов последнего десятилетия, особо о великом крестном ходе, о паломничестве в Иерусалим ко гробу Господню и на Святой Афон, из своих размышлений, запечатленных в очерке о литературе, я понял... Современная массовая литература – бунт против Бога и бунт против народа русского, исповедующего православное христианство. Но и русская традиционная художественная литература, как и всё профессиональное русское искусство, в предельно сложных отношениях с православным христианством; русская литература в ретроспективе двух веков то сближалась с Церковью, напоминая тропу к храму, то по ереси либо немощи отдалялась до вольного и невольного, осознанного и неосознанного противостояния. Лишь в русское средне-

вековье письменная литература опиралась на православно-христианские воззрения, поскольку средневековая литература и вышла из Церкви, от Святого Писания и Священного Предания. Пример тому – своды летописей и, наконец, «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона. А уж в эпоху классицизма, возрождения – литература, впав в идейную смуту, постепенно отдаляется от Церкви, и в литературе, как и во всем искусстве, слышны мистические отзвуки греческого и римского язычества, исповедники которых в союзе с иудеями убили и умучали тысячи первохристиан; рвали крючьями тела, кидали в котлы с кипящей водой, распинали на крестах, как и Христа Бога, бросали тиграм и львам на растерзание, а просвещенным римлянам на погладение, и всё лишь за то, что христиане отказывались поклониться Апполону, Марсу, Венере, Вакху и прочим идолам бесовским, проклиная и римские, и греческие капища и жрецов их. Ныне же бесы красуются в Летнем саду Санкт-Петербурга, словно на демоническом капище...

Владимир Крупин, воцерквленный раньше иных именитых писателей, сразу после крушения хотя и народной, но богохульной власти осознал и запечатлел в своих произведениях мысль о том, что мирскую литературу с православным христианством далеко развело друг от друга то, что художественная литература, даже и классическая помещицья XIX века, классическая народная XX века, кроме избранной, опиралась обычно на мудрость дольную – мудрость мира сего, мудрость от человеков, что в христианском понимании – безумие. В Послании святого апостола Иакова утверждается: «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская» (Ик.3:15). Апостол Павел, размышляя об уме и безумии, советует христианам: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке

сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо безумность мира сего есть безумие пред Богом» (1 Кор 3:18–19).

А если уж судить о художественности, то вспомнилось мне иерейское суждения о сем: «Не говоря уж о истинной духовности и любомудрии, и в образном слове царь Давид боговдохновенными псалмами затмил всех ваших шекспиров...»

Валентин Распутин однажды сказал, что русский человек, владеющий землёй, во святом крещении обрёл небо... Несмотря на оглушительное разочарование в светской литературе, даже классически вершинной, все же остались избранные русские писатели, духом и словом восходящие к православному средневековью; и среди сих избранных свыше и Владимир Крупин. Воспевший и оплакавший крестьянскую вселенную, писатель в зрелом духовном осмыслении пошёл дальше прославленных писателей-деревенщиков: раньше облачившись во Христа, мистически чуя в понятии *крестьянин – крест и Христос*, писатель в своём творчестве оценивает земную реальность уже не с временных идеологических «кочек» зрения, а с вечной, единственно истинной точки зрения – божественной. Произведе-

ния Владимира Крупина, созданные в нынешнем веке, исполнены чисто и ясно, без языковой витиеватости, когда писательский язык заплетается, словно хмельной, и без лукавого мудрствования, – «...да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5:37) – поскольку писатель ведаёт, сеющие слово, «...за всякое праздное слово (...) дадут (...) ответ в день суда» (Мф. 12:36).

Описывая события житейские, не говоря уж о церковных, писатель исподволь даёт уразуметь, что за всяким человеческим деянием, мирским событием – Промысел Божий, что и материальный мир живёт по законам духа, что боговдохновенный русский писатель – мытарь, который в произведениях бьётся челом в церковный половицы и покаянно вопит: «Боже, милости буди мне грешному», покаянным же воплем созывая народ к покаянию и спасению. Писатель, ежели не от лукавого, – воспитатель детского сада, где дети – родной народ, и пред Всевышним писателю, как иерею, архиерею, отвечать за свою душу и души читателей. Во тьму ли кромешную спихнул несчастных словом своим, к покаянию, спасению и блаженству позвал ли...